

лит. раз. - 1992 - 5 апреля - с. 4

«**ЧАСТЛИВАЯ МОСКВА**» — гениальный роман и, наверное, самый страшный у Платонова, страшнее «Котлована», там хоть пробивался какой-то бледный кладбищенский свет: ну хотя бы в преданности девочки-сироты: костюм своей матери, в заботе обрубка Жачева о ней—здесь все раздано черзем надрывно-большого сарказма. И ничего уже не остается для утешения человеческого сердца. Роман писался очень долго, с большими перерывами, начало относится к 32-му году, конец — к 36-му, писатель принимался за него в одном душевном настрое, а завершал совсем в другом. Недаром он столько раз переписывал начало, которое всегда оказывалось слишком радужным.

Ключ к роману—з записи Андрея Платонова, сделанной осенью 1932 года: «**Есть такая версия.** Новый мир реально существует, поскольку есть поколение искренне думающих и действующих в плане ортодоксии, в плане оживленного «плаката», — но он локален, этот мир, он местный, как географическая страна наряду с другими странами, другими мирами. Всемирный, универсально-историческим этот новый мир не будет и быть не может. Но живые люди, составляющие этот новый, принципиально новый и серьезный мир, уже есть, и надо работать среди них и для них».

Речь идет о той жизни, какой жили миллионы людей, да почти все население страны, если иметь в виду количественный, а не качественный состав. Платонова эта жизнь с профкомами, параноическими лозунгами и фразеологией, самодеятельностью, мероприятиями и системой рассуждений — вопреки трезвому признанию ее — смертельно пугала, ибо была чужда его тонкой и глубокой душе, «как пуля живому сердцу». В порыве самозащиты он пытался приручить ее. В дивном рассказе «Фро» о тоскующей женщине, раздавленной непосильной разлукой с любимым, есть сцена, казалось бы, противоположная в образном строе повести, но она из этого самого «нового мира». Бродя по путям железнодорожной мастерской, тоскующая Фро слышит, как участники самодеятельности из кондукторского резерва (я чувствую, как пугался этих слов кончик платоновского карандаша, скользя по листу школьной тетрадки или по желтоватой изнанке амбарных квитанций) поют веселую, мобилизующую и страшенькую, как бредцы сологубовского Передонова, песенку:

Ах, ель да что за ель!
Да что за шишечки на ней!
Ру-ру-ру — паровоз,
Ту-ту-ту — паровоз,
Тр-тр-тр — паровоз.

Больше пластики, культуры.
Производство — наша цель!*

Платонов ненавидел советский условный мир. На встрече писателей с первыми стахановцами он внимательно и скорбно слушал пустой треп самого противного из всех искусственных героев, машиниста Кривоноса, о том, как он готовится к очередному рэйсу. Оказывается, он каждый раз подкрашивает свой паровоз, что и гарантирует ему несказанные достижения. «Здесь, — говорил новатор, — я красной красочкой помажу, здесь синенькой пройдуся, на колеса обратно красную пушу, а спереди желтую наложу». И тут раздался грустный голос Платонова: «Еще одну красочку наложишь, и паровоз вовсе не пойдет». А на банкете, сидя рядом с раскаленной, как деревенская печка, Пашей Ангелиной, он долго смотрел на ее могучую, обтянутую крепдешинным грудью, по которой элозил новенький орден. «Не трет сосок-то?» — участливо спросил он. Как лишняя красочка не нужна паровозу, так не нужен кусок металла на том комочке плоти, которым мать вскармливает дитя. Трактористку Пашу это не волновало, она была лесбиянка.

Счастливая Москва — это девочка без роду и племени, очнувшаяся для жизни в городе, давшем ей свое имя, отчество всеобщее — Ивановна, а фамилию Честнова в «знак честности ее сердца». Когда это столь щедро и добро заявленное существо подалось в парашютистки, я понял, что Платонов ее не любит или разлюбил в долгопослании. К женщинам-парашютисткам у него был свой особый, платоновский счет. В другом его рассказе хорошенькая парашютистка — это змея-разлучница, опасность для скромной семьи — не всерьез, но вроде и всерьез. И вот Москва созерцает затяжной прыжок «сквозь вечерний туман, развившийся после дождей» на нозом парашюте, пропитанном водонепроницаемым лаком. Замечательно, по-платоновски описан выход в поднебесную пустоту. Позиснув на крелких ремнях, Москва начина-

* Цитируется по памяти.

Неизвестный роман Андрея Платонова, опубликованный в девятом номере «Нового мира» за 1991 год, снабжен замечательными комментариями Н. В. Корниенко. Там сказано: «Роман Андрея Платонова «Счастливая Москва» восстановлен по рукописи, хранящейся в его домашнем архиве. Роман написан карандашом, на серой бумаге, на листах, вырванных из школьных тетрадей и амбарных книг [чаще всего на обеих сторонах], на свободных страницах рукописей его ранних стихов...»

До чего же это по-платоновски и как созвучно тому времени и положению великого русского писателя в «большевизской» литературе! Невольно вспоминается, что в гитлеровской ночи роман Ганса Фаллады «Пьяница» был написан на четвертушках бумаги, выдаваемых в каземате стационарного вытрезвителя для письма на волю. Каждый листок был исписан с двух сторон: вдоль, поперек и по диагонали. После самоубийства Фаллады чудом сохранившийся текст был расшифрован волевым напором Иоганнеса Бехера. Прав толстовский Александров: человечество не ценит своих гениев.

Платонов был все же счастливей немецкого собрата, он писал на амбарных листах только вдоль.

Юрий НАГИБИН

Самый страшный роман Андрея Платонова

ет плавное снижение. И вдруг совершает нечто противное здравому смыслу: она закуривает. Вы представляете себе курящего парашютиста? К тому же Москва не курит; но, после прыжка на всем протяжении романа она не притрагивается к папиросам. А тут закуривает в воздухе, разом потратив коробок спичек, и поджигает шелковый, пропитанный составом купол. Это не поступок Москвы, а поступок автора, нужный для его целей, а не для целей персонажа. У другого писателя такая несурза была бы промашкой, но не у такого мастера, как Платонов. У него это проверка здравым смыслом очередного советского уродства, вроде железной бляхи на соске или размазанного, как потаскуха, паровоза.

Паразитизм — полезное всемирное занятие, пока не удобляется амоку, как у нас в тридцатые годы. Тогда это стало таким же помешательством власти, перекинувшимся на замороченный народ, как позже первая очередь метро, стрелковые кружки, МОПР, ударничество, стахановское движение, нормы ГТО, четвертая глава, борьба с космополитизмом и прочие мани Сталлина, превращающиеся во всеобщее безумие. Долгое и бессмысленное болтанье между небом и землей — нечто вроде перекура, и Платонов реализует метафору, добываясь компрометирующего эффекта. Лев Толстой говорил: надо хорошо жить на земле, а не пылать в небе. Женщине надо осуществлять свое предназначение деятельной любви, выращивания нового человеческого существа, а не висеть на строплах.

Завершается трагикомический эпизод с глубокой серьезностью, достойной пилота-писателя Сент-Экзюпери: Москва прославилась (глупой славой), но из авиации ее отчислили, ибо воздухофлот — скромность, а она — роскошь.

С удивительного небесного факела началось незаметное разрушение едва зарежившего прелестью образа Москвы — нравственное и физическое, превратившее цветущую девушку в Бабю Ягу — Костяную Ногу. Кстати, описывая ее внешность, Платонов с видом простодушного восхищения говорит о ее юной «опухлости». Выражение «пухленькая» передает милоту девушки, но «опухлость» — это для утопленницы. Жесток Андрей Платонович к светлой комсомольской юности!

«**ЧАСТЛИВАЯ МОСКВА**», роман безмерного разочарования, начинался в одном мироощущении, еще во власти каких-то надежд, иллюзий и несомненного желания выжить, а завершился в состоянии, близком к отчаянию, что вполне соответствует датам ее написания: 1932—1936. Когда

Платонов достал свою амбарную книгу, уже был разгромлен «Впрок», но ему казалось, что он еще держится на плоту Медузы, идущем к берегу спасения. Последние строчки писались в дни нового апокалипсиса, ибо вопреки бытующему ныне мнению обвалы репрессии начались не в тридцать седьмом, а на полгода раньше...

«Опухшая» Москва как-то печально, без всяких усилий заворачивает всех персонажей мужского рода: и кроткого духом Божко, геометра, городского землеустроителя, утратившего последние черты личности в социалистическом радении, и жутковатого, со сдвинутой психикой хирурга-прозектора Самбкина, и гениального изобретателя Сарториуса, пропавшего от любви, и вневоисковика-паразита, страшенького Комягина, и каких-то случайных зашельцев в роман. И с каждым она спит, с кем на койке, с кем во влажной землеройной яме, с кем в опрятной курортной постели, ей это безразлично, как и то, с кем спать. Настолько все равно, что, уже став калекой — ногу потеряла в шахте Метростроя, — она, отливив прооперированного ее Самбкина, уходит на прыжке к вневоисковнику Комягину, становится его женой, но, поругавшись, сгоняет сожителя на пол и пускает к себе притавившего откуда-то Сарториуса; утром же, забыв о еще не ушедшем Сарториусе, вновь принимает под бок замерзшего на полу Комягина. И все это без психологии и чувства, так же просто и равнодушно, как земля принимает дождь, град, снег.

Тут, мне думается, разгадка судьбы и образа Москвы Честновой. Ей сделали такой чудесный протез, что никто не замечал ее уродства, все отдыхающие на море, куда она поехала с Самбкиным, вырезали свои имена на ее трости и хотели иметь от нее детей. Но в тот вечер, когда Сарториус в темном наитии приперся в коммунальный комягинский вертеп и, прислонившись к канализационной трубе, слушал кишечную жизнь жильцов и страшную, как ад, перебранку супругов Комягиных, с искренней ногой Москвы произошло важное превращение. «Скрипишь, деревянная нога!» — говорит ей Комягин. В отличие от всех калек Москва не снимает протез на ночь. Она «сошла с кровати деревянной ногой». Она опять заваливается со своей деревянной ногой на койку и принимает туда наконец-то отлепившегося от канализационной трубы Сарториуса. Дело в том, что она не может освободиться от протеза, он стал ее собственной ногой, причем не деревянной, а костяной. Потому что она из Москвы Честновой превратилась в Бабю Ягу — Костяную Ногу.

Это произошло вот почему. В сцене, о которой идет речь, померкло воспоминание-символ, питавшее душу и воображение Москвы с того далекого дня, когда она оказалась свидетельницей октябрьского переворота. Революция явилась в виде темной фигуры человека с горящим факелом в руках, бегущего по улице. Ружейный выстрел прервал бег и погасил факел, а бедный, грустный вскрик поверженного отозвался народным гулом в стороне тюрьмы. Свет этого факела пронесла Москва через всю жизнь как самое важное, дорогое и чистое, проверяя по нему свою жизнь (последнее не находил подтверждения в романе, но мы верим намерению автора). И вдруг выясняется, что прекрасным и гибельным символом революции был вневоисковик Комягин, проверявший посты самообороны. А выстрелил по нему случайный хулиган. Гул же народных голосов в стороне тюрьмы вовсе не был порывом в свободу, скорее наоборот. Заключенные-уголовники не хотели на волю, потому что в тюрьме хорошо кормили, и взбунтовались. Пришлось их выдворять силой. Комягин и сам подкармливался у надзирателя, ел варистые щи. Так погас последний свет в душе Москвы и окостенела ее нога.

Уклясиющийся от пересвидетельствования вневоисковик Комягин оказывается главным «героем» романа, хотя поначалу кажется самым ничтожным и необязательным из всех персонажей. Постепенно образ его усложняется и укрупняется. Он неистово лют до женщин, этот белобилетник. Нечаянно и непонятно чем очаровав заглянувшую к нему по делу Москву, Комягин просит ее подождать под дверью, пока он переспит со своей бывшей, старой и непривлекательной женой. Ему это необходимо для поддержания жизненного тонуса, и Москва относится к диковатому предложению вневоисковика с покорным пониманием. Комягин, пенсионер последнего разряда, изредка работает в осодмиле: штрафует людей на трамвайных остановках. За что их там штрафовать — неясно, но и многое другое неясно в том «новом мире», который Платонов принимает как данность. Оказывается, это ничтожное занятие дарит Комягина сознанием своей власти над людьми, и есть у него заветная думка: «Что если б я в осодмиле лет десять еще поработал — я бы так научился в народ дисциплину наводить, мог потом Чингиз-ханом быть!».

Замечательное признание! Вон какие амбиции гнездятся в узкой груди захудалого любострастника. Факелоносец революции, Комягин вполне созрел для номенклатуры и высокого поста на Лубянке.

Сарториус не отогрел костяной ноги, и Москва, уже зная всю цену своему сожителю, пускает назад в постель ожившего Комягина. Ожившего буквально, а не просто замерзшего на полу. Перед тем как окончательно воплотиться в Бабю Ягу, Москва Честнова приговаривает саморазоблачившегося супруга к смерти, против чего он ничуть не возражает, и осуществляет казнь: закатывает Комягина в одеяло с головой и обвязывает веревкой, чтобы он не мог выбраться и задохнулся. «Он спит? — спросил Сарториус про Комягина. — Не знаю, — сказала Москва. — Может быть, умер, — он сам хотел».

Да нет, он не хотел, только играл в тихий, покорный уход. Он знал, что не может умереть, ведь он Кошей Бессмертный. И он возвращается под бок к Бабю Яге погреться у ее костяной ноги. Все, как в старых сказках.

А Сарториус уходит — без слов. Да и какие тут возможные слова? Но и жить дальше в собственном образе после всего пережитого, после потери Москвы тоже нельзя. И он перестает быть Сарториусом, становится Груняхиным, купив на рынке чужой паспорт. Исчез таинливый, быть может, гениальный инженер-изобретатель — и появился скромный работник прилавка. Он поступил в столовую и быстро вошел «в страсть своей работы...».

Нелюбо обустроил он и свою личную жизнь, женившись на немолодой, некрасивой и к тому же продолжающей любить бросившего ее мужа женщине с великозростным противным сыном. Парень хамил, а жена Матрена Филипповна, не любя, ревновала и была его любимым предметом: «старым валенком, вешалкой вместе с одеждой, самоварной трубой от бывшего когда-то самовара, башмаком со своей ноги и другой внезапой вещью, — лишь бы изжить собственное раздражение и несчастье».

О ГРУНЯХИНЕ (Сарториус) был по своему счастлив, ибо ушел от себя прежнего, живого, страдающего, томящегося, тяжело плутающего в чаще жизни. Опростившись, умалившись до социального одноклеточного, он об-

рел в этом покои и внутреннюю тишину, почти равную счастью. Осуществился в масштабе коммунального существования пушкинский идеал: «на свете счастья нет, но есть покой и воля». Страшно, что тут слышится голос собственной измученности Андрея Платонова. Сарториус был затравлен своей душой и отчасти средой. Платонов погибал от режима. К нему вполне применимы слова поэта, сказанные много позже: «Я пропал, как зверь в загоне». В страшной, более чем понятной человеческой слабости он примерил на себя шкуру другого, среднего, незаметного сверху человека с ничтожной, но честной работой, безлюбой женой, которую можно жалеть, с чужим ребенком, за которого можно не бояться так смертно, как за своего собственного, — чем не жизнь? Это же надо так довести гениального писателя, чье место возле Достоевского и Льва Толстого! Расправа над Мандельштамом и эта большевизская акция идут первой строкой в списке преступлений против человечества и духа.

Но ведь Платонова не расстреляли, даже не посадили. Сталин был несправедлив гуманист, Платонова оставили на воле, а посадили его любимого пятнадцатилетнего сына, одаренного, красивого Ташку. Но и того вернули во время войны, смертельно больного чахоткой, и дали умереть дома, предварительно зарезав отца скоротечной формой болезни. Они лежат рядом в армянской части Ваньковского кладбища, в русской — для Платоновых не нашлось места...

Мы не знаем, какая судьба постигла еще двух человек, любивших Москву Честнову; геометра Божко, растворившегося без осязка в заботе о социализме, никакая личная судьба вообще не могла постигнуть, а вот с врачом Самбкиным дело обернулось неладно.

Проницательный Андрей Платонович не видел нормальных путей для осуществления утопических целей социализма и потому возлагал надежды на парадоксальные способы, как обмануть природу и экономические законы: о-сюда под земное море, чьей тайной энергии хватит на весь социализм, или неистребованная добрая сила солнца, или какая-то гиперэлектрификация всех жизненных процессов. В этом романе глобальным мечтанием разом осуществить человечество придан более узкий, частный и несколько пародийный характер: Сарториус создает сверхтонкие весы, которые положат конец акулационной политике, разветвляющейся на основе нечестности гирь, весов и безменов, и другому, пусть невольному обману массового рабочего потребителя. Чувствуя, что весы Сарториуса, при всей значительности задачи, все же не разрешат окончательно всемирной затводки с обязательным для всех счастьем, Платонов прибегает к помощи естественных наук. Он призывает фанатика скальпеля Самбкина. Кромсая внутренности трупов и живых людей, тот обнаруживает в организме умеряющего выделения некоего тайного жизненного вещества, которым можно оживлять трупы. Признанью, у меня волосы встали дыбом, когда я прочел об ужасном открытии Самбкина, предварающим эксперименты гитлеровских медиков. Но то ли Платонов сам спохватился, то ли Самбкин поначалу, плохо объяснил суть своего открытия, в дальнейшем всё оказалось наоборот: он открыл выделение посмертной жизненной секреции у трупов, и ею можно активизировать и продлевать жизнедеятельность строителей социализма. Так-то лучше. Попутно Самбкин открыл вместилще человеческой души и самую душу, это находится в кишечнике между новой, еще не переваренной пищей и старым, подлежащим извержению калом. Тут с Самбкиным едва ли кто будет спорить.

Неистовая любовь к Москве Честновой отравляла Самбкина от его полезных исследований. Странно, но любовь к этой молодой женщине как-то неживотворна и никому не принесла счастья. Самбкин вдруг понял, что всепоглощающее чувство к Москве мешает ему любить весь остальной мир. Бесплодная маета сердца превратилась для него в такую умственную загадку, что Самбкин всецело принял за ее решение и забыл в своем сердце страдальческое чувство». Исцеленный от любви врач потерял для автора всякий интерес. Самбкин выпал из романа, как лишний гриб из кузовка после изобильной грибной охоты. Он разделил участь Божко. Так же вываливались из тогдашней жизни люди, не оставляя по себе даже памяти и тем подтверждая необязательность пребывания всех нас в мире.

Роман Андрея Платонова страшен, как страшна была тогдашняя, уже далекая, но не потерявшая способности к возвращению жизнь.